

Константин Михайлович Станюкович

ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ

I

Вдова подполковника, более известная, впрочем, в Коломне под именем полковницы, Марья Ивановна Кропотова, бодрая, деятельная, подвижная дама, с вечно сбитым набок черным чепцом, попеременно прикрывавшим одну половину сильно поседевших, некогда темных волос, здоровая, высокая и прямая, несмотря на пятьдесят четыре года, которые она с честью носила на своих широких плечах, стойко и храбро выдерживая житейские невзгоды, – вот эта-то почтенная дама только что, как она выражалась, «пришла в себя» после обычных хозяйственных забот, волнений и мелочных дрызг утра.

Отпустив подростка-дочь в гимназию, а сына на должность, она, по обыкновению, вдосталь накупилась в рынке, обнаруживая неизменный ужас, обратившийся в привычку, при объявлении цен провизии, волновалась, выбирая огузок, корила торговцев, спокойно слушавших ее обычные философско-экономические соображения, пересыпанные энергическими приветствиями – следами прежнего близкого знакомства с лагерной жизнью в качестве офицерской жены, – и торговалась до остервенения, мужественно отстаивая каждую копейку, стараясь выгадать лишний кочанок капусты, лишний пяток картофелин. И когда ей это удавалось – что бывало довольно часто, – она шла домой, мимо лавок, имея позади себя кухарку с корзиной на руках, а впереди мохнатую собачонку «Буяшку», торжествующая, с раскрасневшимся лицом и пересохшим горлом, в съехавшей на сторону шляпке и порыжелой тальме, словно полководец, возвращающийся после одержанной кровопролитной битвы, сопровождаемая почтительными приветствиями торговцев Литовского рынка, видевших неизменно каждое утро, вот уж пятнадцать лет, Марью Ивановну, которую остроумие рынка давно уже окрестило «генерал-полковницей».

Дорогой Марья Ивановна давала краткие указания насчет жаркого и кисленького соуса и, возвратившись домой, в Прядильный переулок, немедленно принималась за дела. В течение сегодняшнего утра она успела, конечно, несколько раз поссориться и примириться с кухаркой, пожурить дворника за дрова, знакомую селедочницу за подлые селедки, и придать своей маленькой квартирке тот вид образцового порядка и чистоты, которым она по справедливости гордилась. Наконец после педантической «уборки», после залезания со щеткой во все недосыгаемые для других углы, где могла быть паутина, после генерального осмотра «детского белья» (о своем она не заботилась) – осмотра, заставлявшего ее не раз застывать перед какой-нибудь дырявой сорочкой или иной принадлежностью белья, приходившей в разрушение, – в позе Наполеона во время Аркольской битвы [1] или Архимеда, углубленного в решение задачи, – она наконец в первом часу дня, утомленная и разбитая, несколько успокоилась, поправила чепец, привела себя в более приличный вид и почувствовала потребность выпить чашку кофе.

Три комнаты ее квартиры, с перемытыми цветами на окнах, кисейными занавесками, чижиком и канарейкой, с чистенькой мебелью, сияли, как стеклышко; кухня с сверкавшей на солнце медной посудой, расставленной по ранжиру на полках, с выскобленными добела двумя

кухонными столами, не оставляла желать лучшего и ни одним своим углом не оскорбляла взыскательного и зоркого взгляда хозяйки; требовавшее ремонта белье сложено отдельно и план действия относительно него составлен. Все и везде блистало порядком, сверкало чистотой. Чижик и канарейка заливались вперебой. Буяшка, после дарового завтрака в мясной, сладко спал в своей корзине, свернувшись мохнатым клубком; и Марья Ивановна, с сознанием исполненного долга и с чувством утомления во всех членах, считала возможным наконец «придти в себя» и присесть за чашку кофе в своей маленькой, загроможденной разнокалиберной мебелью комнатке, которую дети и близкие знакомые не без некоторого основания звали «музеем редкостей».

В самом деле, чего только не было в разных ящиках, бесчисленных шкатулках и коробочках, аккуратно расставленных на старомодном туалете красного дерева, к которому подходил всякий нуждающийся в пуговице, костяшке, ленте! Начиная с кульмского креста [2] и медали двенадцатого года – единственного, кажется, наследства, доставшегося полковнице после смерти ее родителя – и кончая машинкой от галстука и заржавевшей пряжкой от жилета, – все годные и негодные в хозяйстве предметы можно было бы найти в каком-нибудь из этих хранилищ. Литографированный портрет Марии Стюарт [3], крышка от фарфоровой чашки, нитки, половина ножниц, старая бонбоньерка, закоптелый мундштук – все это хранилось про случай. Марья Ивановна любила все прибирать к месту, спрятать, рассчитывая, что все пригодится; быть может, даже и медаль двенадцатого года. И когда к ней приходили за чем-нибудь, она всегда, смеясь, говорила: «Видишь – и музей пригодился!»

И теперь, на отдыхе, за чашкой кофе, голова ее не переставала работать в хозяйственном направлении. Трудно, ах, как трудно сводить концы с концами при маленьком пенсионе и при этой дьявольской дороговизне. «Чего только правительство не обуздает мясников и булочников!» Приближался май месяц и предстояли кое-какие экстраординарные расходы, не вошедшие в смету ее скромного бюджета, и ей предстояла задача, пожалуй, более трудная, чем министру финансов, изыскать новые источники дохода или сократить расходы. Последнее, по совести говоря, было бы гораздо легче сделать министру финансов, чем ей, и как она ни ломала свою голову, а приходилось возложить некоторые надежды на ожидаемую прибавку к жалованью сына. Тогда можно сделать у него маленький заем, обновить гардероб подростка-дочери, сделать запас дров и т.п.; погасить же заем придется в конце года из получаемого ею ежегодно пособия из инвалидного капитала. Не век же Мите сидеть на пятидесяти рублях! Давно обещали прибавить!.. Однако могут и не прибавить!.. Конечно, она могла бы обратиться к старшему сыну или замужней дочери, они не отказали бы, но полковница почему-то энергическим движением головы отогнала эту мысль. Они должны и сами догадаться, а она кланяться не намерена. Если они думают, что она когда-нибудь заикнется им о своих затруднениях, то ошибаются... Очень ошибаются!

Пока мысли ее витали в области финансовых вопросов и она успела уже приняться за вторую чашку, как в передней раздался звонок.

– Кто звонил?

– Дмитрий Алексеевич вернулись! – отвечала Ирина, возвращаясь в кухню.

– Дмитрий Алексеевич?

Лицо Марьи Ивановны съежилось в вопросительный знак. Тревога загорелась в глазах. В нетерпении поскорей узнать, почему вернулся Дмитрий Алексеевич, когда ему следовало быть в должности, она хотела было лететь к нему, как в соседней комнате раздались знакомые шаги медленной походки и на пороге появился белокурый молодой человек, невысокого роста, с добродушным, не особенно красивым лицом, поросшим редкой русой бородкой.

Несмотря на улыбку, на спокойный, даже развязный вид, с каким молодой человек вошел в комнату, можно было заметить, что он несколько смущен и взволнован. Быстрый, зоркий и встревоженный взгляд матери мгновенно прочел это в глубине больших, мягких, серых глаз сына, глядевших из-под длинных ресниц с каким-то едва уловимым оттенком тревоги, – в розовой краске румянца, еще не отлившего от нежно-бледной кожи лица, в нервном подергивании углов рта, в неестественной развязности движений, совсем не подходившей к общему складу этой скромной, непритязательной, флегматической фигуры молодого человека, стоявшего перед полковницей.

Сердце Марии Ивановны сжалось от недоброго предчувствия при взгляде на сына. Голосом, в котором тревога преобладала над сдерживаемым нетерпением и в то же время смягченным надеждой, она задала сыну вопрос, видневшийся в ее глазах, в нетерпеливом выражении ее лица и всей подавшейся с дивана вперед фигуре:

– Ты что это, Митя, так рано из должности?

Митя попробовал улыбнуться, махнул рукой и медленным голосом проговорил:

– Вы, маменька, заранее не тревожьтесь... Ничего особенного... Я... видите ли... покончил с занятиями...

– Да не тяни душу-то!.. – воскликнула полковница, с шумом отодвигая чашку и кофейник, – как покончил?

– Очень просто. Да вы не волнуйтесь, маменька, – снова повторил он, замечая, как лицо полковницы начинало краснеть...

– Да что же, что же?.. Говори, бога ради!..

– Я оставил сегодня место, правильнее сказать, меня уволили...

– Опять?!.

Несколько секунд протекли в безмолвном взгляде, полном гневного оштолбенения. В первую минуту этого известия полковница не находила подходящих слов.

«Опять!» – повторила она. И это уж был не возглас, а крик, имевший действие электрического тока, приставленного к заряженной гальванической батарее. «Который это раз... Ах, ты... дурак, дурак!..» Она вспыхнула, словно бочка, начиненная порохом, и – не слушая, как сын несколько раз повторил было: «Да вы не тревожьтесь, маменька», – вскочила с места и, захлебываясь от волнения, то останавливаясь на ходу, то присаживаясь на стулья, разразилась одним из бессвязных, длинных монологов, известных дома под именем «бенефисов» и который, по-видимому, нисколько не удивил Кропотова. Напротив, как только он увидел первый взрыв, выразившийся в потоках упреков, в брани, он как будто вздохнул спокойнее; тревожное выражение в его глазах сменилось обычным флегматическим спокойствием, и при первых же словах он плотно уселся в кресло, словно заботясь выслушать не предотвратимую теперь ничем сцену с возможно большим удобством.

– Умница... болван, – продолжала между тем полковница, багровая, словно бурак. – «Оставил место!» – передразнивала она медленный голос сына, растягивая ноты своего звонкого голоса, – точно генерал какой, у которого места в запасе, что грибы после дождя...

«Уволили!»! Еще бы не уволить такое сокровище... Верно, опять с своими дурацкими рассуждениями сунулся. Очень его спрашивали! Нечего сказать: стоит такого блаженного слушать! Как же – нужно! Как угодно Дмитрию Алексеевичу? Нравится ли Дмитрию Алексеевичу?.. Который это раз ты места-то бросаешь? Все по себе, вишь, не нашел... Не хочешь ли быть китайским императором? Да и то, пожалуй, нам не по вкусу... Разборчивый... Невозможно... Не подходит... Из деревни тогда прогнали – эка нашел занятие! У нотариуса служил – не нравится; в банке – ушел; зять, спасибо, в таможне предлагал – не хочу... Дали на железной дороге место, кажется, место хорошее, считай себе и молчи, с цифрами нечего мудрить-то... восемь месяцев прослужил, видно, долго очень, и вот тебе на – уволили!.. Только ты меня не уверяй – «уволили», верно, ты опять с своей фанаберией? Недавно еще обещали прибавить жалованье; бухгалтер-то ваш – этот верзила-немец – дяде Андрею говорил, что тобой довольны, и вот-таки порадовал! У человека ни платья, ни белья, сам ляляка какая-то, а он туда же, места разбирать! У других людей цель в жизни есть, а он... Выродок какой-то! Вот старший брат Федя. Кончил, как следует, ученье, служит, полковник уже... Сестра Наденька... да все люди как люди, а ты-то – балбес балбесом!

Она перевела дух, чтобы снова продолжать тот же монолог. Между тем Дмитрий Алексеевич по-прежнему сидел безмолвно, не пытаясь даже возражать, зная по опыту, что возражать в такие минуты все равно, что лаять на луну; он привык с малолетства к этим бестолковым вспышкам и продолжал слушать всевозможные варианты брани с покорным равнодушием, сменявшимся по временам, когда мать выдумывала уж очень смешные эпитеты, невольной усмешкой. Эта невозмутимость и пойманная ею усмешка привели полковницу в еще большую ярость.

Она подбежала к нему и остановилась, заложив руки назад и подавшись вперед всем корпусом.

– Скажи, пожалуйста, в кого ты такая телятина? Ну, полюбуйся на себя... Полюбуйся-ка на свою фигуру!.. У матери из-за него разрывается сердце – ведь мне что, хоть нищим шляйся по улице, я что могла – сделала, вывела тебя в люди! – а он развалился себе, как свинья, и горя ему мало!.. Нет – это какой-то урод, ей-богу, уродина, а не мужчина... Да ты и на настоящего-то мужчину непохож. Настоящий мужчина сейчас виден: у него самолюбие, гордость; он к чему-нибудь стремится, действует, чего-нибудь желает... осязательного... карьера, ну, средства... одним словом... А вы... кто вы такой? Ни чина, ни звания, ни места... Как собака – сегодня здесь, завтра там, и ему как с гуся вода... Да ты уж не воображаешь ли о себе? Ах, как умен... Ума твоего и видели... Нечего сказать – умник, большой умник... Поди, в самом деле воображает, что орел! Орлы, сударь, не такие!

Достаточно было взглянуть в эту минуту на Дмитрия Алексеевича, чтобы убедиться, что он не орел и не воображал себя таким, да вряд ли склонен был много воображать о себе. Он теперь уже не слушал с прежним спокойствием и, с увеличением азарта полковницы, взглядывал на нее с некоторым беспокойством, замечая, что лицо ее багровеет все более и более.

– Маменька, да вы не волнуйтесь...

Не волноваться? Легко было сказать это, но когда полковница «задавала бенефис», то доводила его до конца... Еще не вся грозовая туча была разряжена, еще кровь клокотала...

– За тебя-то и замуж ни одна дура не пойдет, – между тем гремела она. – Очень нужно... нищих плодить... да и какой ты можешь быть муж? Ты, верно, думаешь, что эта стрекоза Анна Николаевна тобой интересуется? Как же!.. Жди кулик Петрова дня! Да ты каменный, что ли?.. Ну, что выпучил глаза? Тьфу ты! – плюнула с сердцем полковница. – Чурбан какой-то, а не человек!

И, задыхаясь от волнения, чувствуя, что слова уже исчерпаны, она вдруг выбежала из комнаты, неистово стукнув дверью, и скрылась в кухню, к немалому испугу Ирины.

Дмитрий Алексеевич тоже поднялся с кресла, прошел в свою комнату и присел, взяв со стола книгу. Но ему не читалось. Из всего монолога матери ему припомнилось только обидное мнение, что он не настоящий мужчина; и Дмитрий Алексеевич находился в большом сомнении относительно этого вопроса в применении к Анне Николаевне... Он долго занимал его, пока не был наконец решен в том смысле, что мать права, и что Анна Николаевна действительно им нисколько не интересуется, да и вообще никакая женщина им заинтересоваться не может. С этим скромным и горьким для него решением он примирился, однако не без сердечной боли, но – увы! – все факты были налицо, и даже зеркало – маленькое зеркало, стоявшее на комод, в которое он взглянул, вероятно, по совету матери «полюбоваться на себя», и оно внушило ему такую же скромную оценку относительно своей наружности, какую только что сделала мать. С кличкой чурбана он не мог, по справедливости, согласиться, но нечто вроде этого... пожалуй... Он припоминал теперь – именно после взгляда – свои беседы с Анной Николаевной, и снова его брало сомнение: не отличаются ли матери пристрастием к своим детям и в отрицательную сторону?

III

Надо признаться, все эти мысли занимали нашего молодого человека гораздо больше, чем потеря места. С ним не в первый раз бывали такие казусы; он уже привык к этим потерям мест и никогда не рассчитывал, что где-нибудь придется долго оставаться. Как-то все так случилось, несмотря на искреннее его желание иметь возможность честно зарабатывать себе кусок хлеба. Впрочем, он имел в виду на первое время уроки, ему обещал достать один сослуживец, а там – будет видно, он станет хлопотать, место, пожалуй, и подвернется. Во всяком случае, он мать никогда не стеснит – об этом смешно было и подумать...

«И ругалась же в этот раз она! – усмехнулся Дмитрий Алексеевич. – Она так близко принимает мои интересы к сердцу, да и вообще кипятик!» – подумал он, чувствуя к матери горячую привязанность и глубокую благодарность за светлое и радостное детство...

Так размышлял Кропотков, пока наконец не почувствовал аппетита. Вследствие этой «истории», заставившей его бросить службу раньше того, как подавался в правление чай с булкой, он ничего с утра не ел и весьма соблазнительно вспомнил теперь о стакане кофе с куском ситного хлеба с маслом. Но выйти из комнаты не решался: пожалуй, встретишь мать и только ее раздражишь опять; надо дать ей время успокоиться. Он было попробовал заглушить голод чтением; однако это средство не помогло. Но в ту самую минуту, когда стакан кофе занял первенствующее место в его мыслях, дверь комнаты отворилась и в дверях неожиданно появилась сама полковница с ветвью мира – стаканом горячего кофе в одной руке и целым пеклеванником в другой.

– Не хочешь ли кофе? – произнесла значительно уже остывшая полковница, хотя и сухо, но с оттенком мягкости в голосе.

Дмитрий Алексеевич не заставил повторять просьбы и не отказался от второго стакана. Марья Ивановна, очевидно, чувствовала угрызение совести (что всегда бывало у нее после «бенефиса») и желание загладить свою вину, хотя и с соблюдением некоторой постепенности в переходе от ссоры к миру. Не говоря уже о густых пенках, которых она совсем не пожалела, ее миролюбивые стремления выразились и в нескольких ругательствах, адресованных в правление, где служил сын, и в отрывочных замечаниях, что на нее сердиться нельзя, что она иногда наговорит лишнего, у нее такой дурацкий характер... Когда, таким образом, начало

было положено, полковница спросила:

– Ты толком-то расскажи, Митя, что у тебя там вышло. За что они придрались?

Сын рассказал. Он и сам не ожидал, чтобы из разговора, который он вчера вел с некоторыми из служащих, произошли такие последствия.

– Разговор был частный... Я высказал свое мнение...

– И зачем ты сунулся разговаривать... Считал бы себе цифры!.. – вставила мать, вздыхая. – О чем же ты разговаривал? – прибавила она, понижая голос. – Может быть, что-нибудь такое... Ах, Митя, Митя!

– То-то что ничего такого, маменька! – усмехнулся Дмитрий Алексеевич. – Просто говорили в конторе между собой... интимно. Очень уж исключительно, можно даже сказать, безжалостно высказывались там двое... Я возразил, меня многие поддержали... вот и все.

– Но как же начальство узнало? Слышало, что ли?

– Верно, какой-нибудь негодяй донес... Подслужиться, что ли, захотел.

– Мерзавец! – вставила от себя с обычной энергией полковница.

– А сегодня директор правления призывает и черт знает чего не наплел. В конце концов объявил, что я уволен... Вот и вся история.

– И какие, господи, подлецы нынче развелись! – воскликнула Марья Ивановна. – Один на товарища шпионит, другие – слушают и человека оставляют без куска хлеба! О-о-ох, времена!

Помолчав, она спросила:

– Выдали ли тебе хоть месячное жалованье вперед?

– Черт с ними! Я не спрашивал.

– Вот это напрасно. Они обязаны выдать. Нельзя же так человека на улицу выбросить. Хорошо, у тебя вот есть мать, а у другого ни души-то нет. А ты, Митя, не тревожься, – вдруг прибавила она, – насчет там меня... Проживем, пока место найдешь. Слава богу, справимся! Только послушай моего совета, голубчик. Молчи ты лучше, молчи! Ни с кем не разговаривай, а то долго ли до греха. Захочется тебе поговорить, приди ко мне и поговори. Молчи, Митя, право, молчи!

IV

Действовавшая всегда и при всяких обстоятельствах с решительностью и энергией, нередко приводившими в смущение даже чиновников правительственных учреждений, с которыми полковнице, в течение ее долгого вдовства, приходилось вступать в непосредственные сношения – хлопоты о пенсионе, о пособии из инвалидного капитала, об определении детей в учебные заведения, всего было! – Марья Ивановна в тот же день обдумала за починкой белья некоторый план.

Теперь, когда она остыла от первых взрывов гнева и первого впечатления, вся эта история представлялась ей такой вопиющей мерзостью, которую так оставить нельзя. И она не

оставит, не такая она женщина, чтобы оставить – нет! Пусть этот тюлень Митя относится к этому делу с своим непостижимым для нее равнодушием, но она не согласна.

Тот самый Митя, которого она час тому назад ругала с таким ожесточением, в эту минуту преобразился в ее глазах совершенно. Он был невинной жертвой, кротким ребенком, соединением всех хороших качеств – только бы не такой рохля! – таким «бедненьким мальчиком» (полковница в это время забыла о летах Дмитрия Алексеевича и чуть ли не представляла Митю в ситцевой рубашке), что святая обязанность матери заступиться за него, если он сам не может. По его робости и простодушию, всякий его обидит, но мать не позволит обижать. Она найдет управу!

И в ее довольно пылком воображении уже рисовалась картина свидания с директором правления, с главным начальником, кто там у них есть. Она изложит ему тихо, скромно, как следует порядочной даме – горячиться она не будет, нет! – как было все дело и, конечно, выяснит это недоразумение. Разумеется, директор правления был введен в заблуждение, но, когда узнает истину, он поправит ошибку, и Митя не только будет приглашен опять с извинением, но и получит давно обещанную прибавку. Если у «него» есть хотя капля совести, он не может иначе поступить.

Фантазия полковницы разыгрывалась на эту тему, пока ее ловкие пальцы быстро работали над штопанием чулка. Разумеется, она прежде всего посоветуется с братом Андреем, расскажет ему об этой подлости и разузнает, какие там в правлении главные начальники. При всяких затруднениях она советовалась только с ним, чувствуя большое уважение и привязанность к этому старому холостяку, отставному адмиралу, несмотря на то, что ни одна почти встреча брата и сестры не обходилась без горячей схватки между ними.

Тотчас же после обеда она поспешно надела шляпку, накинула на себя тальму и, не говоря ни слова сыну, посматривавшему с некоторым удивлением на ее решительный вид, вышла из комнаты, проговорив на ходу детям:

– К чаю не ждите... Да смотри, Люба, со свечой осторожней, когда будешь ложиться спать...

Однако, прежде чем идти на Васильевский остров, к адмиралу, она завернула к Покрову, где шла в это время вечерня. Поставивши свечку образу Николая Чудотворца, она стала сзади, между несколькими старухами, обычными посетительницами церкви, и минут десять усердно молилась богу, несколько раз становясь на колени, припадая ничком к полу... После этого она вышла из храма; на паперти перекинулась двумя-тремя словами с псаломщиком, приветствовавшим ее почтительно-радушным поклоном, как обычную посетительницу Покрова и приятельницу всего клира, осведомилась у попавшейся навстречу дряхлой салопницы, которая по привычке плелась в церковь провести время службы, дан ли ход наконец ее прошению о принятии в богадельню, и, получив один и тот же, в течение десятилетних встреч, ответ, что «на днях велели наведаться», – полковница сердито повела бровями, сунула ей в руки пятак, быстро спустилась с паперти и понеслась на всех парусах на Васильевский остров.

V

Такой же высокий, прямой, как и сестра, брат Андрей, совсем седой, но бодрый и румяный старик с запущенной бородой, в коротком морском пальто-буршлате, сидел в своем кабинете, погруженный в занятия с большим черным водолазом «Понтом», который развлекал только что проснувшегося старика своими фокусами. Он подавал адмиралу поноску, недвижно лежал перед куском сахара, схватывая его не раньше, как раздавались слова хозяина: «Из

бухты вон, отдай якорь!», умирал, оживал по команде и выслушивал замечания старика, иногда даже и не касавшиеся непосредственно собачьих интересов, с таким вниманием хорошего собеседника, что старик недаром гордился своим старым Понтом и рассказывал об его уме и понятливости чудеса.

Полковница застала брата в ту самую минуту, как Понт, хотевший было броситься на звонок, по приказанию адмирала «умер» и лежал неподвижно, пока Андреи Иванович облобызался с сестрой, усадил на диван и приказал лакею поставить самовар; тогда только он разрешил Понту «ожить» и облизать руки полковницы.

– Пить чай вместе будем, сестра? Останешься?

– Останусь, братец. Здоровы?

– Как видишь. Утром только мозоль ныла, верно, к погоде. Барометр опускается, термометр показывает четыре градуса, к вечеру еще опустится. А у тебя все, надеюсь, благополучно?

– Не совсем благополучно. Митя потерял место!

Старик покачал головой. Дело было серьезное.

– Как же это случилось?.. Однако непоседа твой Митя. Сколько уж он мест переменил!..

Полковница, позволявшая себе в минуту вспышек обвинять детей во всевозможных пороках и преступлениях, не позволяла никому, даже брату Андрею, сделать какое-нибудь не совсем благоприятное о них замечание. При словах брата она внезапно вскипела.

– Сколько мест потерял!? И вы, братец, готовы обвинить Митю?.. Да разве он виноват? Разве он по своей воле места-то терял... Не делать же в самом деле подлостей. Вы за это тоже не похвалите... Вспомните-ка... Ведь вы, братец, знаете Митю...

– Да полно, полно... Уж и загорелась! Ну, как не знать Митю – мальчик хороший... только, жалко, курса не кончил... Оно и трудней теперь с местами...

– Не кончил?.. С этими строгостями поди-ка кончи... Спасибо графу Толстому [4], большое спасибо... за эту зрелость! Ну, да что говорить... Нет, вы лучше выслушайте-ка, братец, какую сделали подлость с Митей... Ведь если б я Митю не знала, так не поверила бы...

И полковница рассказала происшествие с сыном.

– Ну, что вы скажете на это, братец? – заметила она, когда старик, выслушавший рассказ с большим вниманием, молчаливо покачивал головой.

– Ддда... – протянул он, словно затрудняясь приискать надлежащее слово для выражения чувства гадливости и отвращения, которое ясно выражалось в гримасе, искривившей его лицо. – Ддда... Что тут сказать? По-моему, эту гнусную тварь, этого (адмирал произнес очень резкое слово)... этого подлеца, передавшего частный разговор товарища, мало выдрать как Сидорову козу. Вот что я тебе скажу, сестра! Хороши товарищи, нечего сказать! В наше время знаешь что делали в корпусе с фискалами?.. Правда, таких немного было... Я помню, как в тысяча восемьсот двадцать шестом году...

– Вы рассказывали, братец, этот случай, – перебила сестра, зная, что адмирал, раз отклонившись, очень долго будет бродить в воспоминаниях.

– Рассказывал? То-то... Еле живого подлеца снесли в лазарет. Хорош и директор правления, нечего сказать, хорош! Слушает наушника и гонит со службы не доносчика, а оговоренного... Приди ко мне такой молодец, я бы тотчас его выгнал со службы, как паршивую собаку.

Помнил бы! А ему, пожалуй, за это там повышение дали, а? Нынче, сестра, на это иначе смотрят! – заметил старик с презрительной усмешкой.

Помолчав, он прибавил:

– А ты сердись не сердись, сестра, но я тебе скажу, что Мите все-таки не следовало разговоров на службе вести... Хотя и частная служба, а все служба, и коль скоро служишь – служи, а мнений не высказывай...

– Уж слова нельзя сказать! – вставила полковница.

– Быть может, он и в самом деле там что-нибудь такое говорил, за что похвалить нельзя? – продолжал адмирал.

– Ах, братец, что вы! Я передавала вам его разговор. Митя никогда не лгал... Я знаю его.

– То-то знаешь. И я знаю... Положим, в словах его ничего такого нет. Ну, молодость, сердце доброе, поневоле жалость вырвется. И я вот старик, слава богу, государю и отечеству пятьдесят лет служил верой и правдой, и я, говорю, мог бы то же сказать... Все это ничего, а как вдруг да твой Митя... – прибавил Андрей Иванович, понижая голос, и необыкновенно строго и серьезно взглянул на сестру.

– Митя-то? – проговорила полковница, внезапно пугаясь. – Да бог с вами, братец! К вам иногда такая мысль взбредет в голову, что даже испугаешься! Эка что выдумали!.. Да куда Мите! Он и знакомств-то таких никогда не водит, и характера не такого... Да и пуглив он на эти дела... Поговорить он иногда – это точно, поговорит там насчет разных несправедливостей, а чтобы... Господь с вами! Придет же вам в голову, братец Андрей... даже напугали!..

– Ну и слава богу. Нынче ведь, сама знаешь, всякая мысль придет в голову. Вот еще сегодня в газете пишут...

Адмирал пустился в политику. Ах, что такое делается! Что пишут! Он искренно возмущался разрушительными стремлениями, имевшими целью, как он полагал, добросовестно цитируя передовую статью, уничтожить решительно все: дворцы, памятники, дома, магазины, лавки, отобрать у всех имущество и деньги, словом – не оставить ничего в целостности и затем перерезать, повесить, перетопить всех, несочувствующих такому решительному образу действий. Когда Андрей Иванович прочитывал такие статьи, он приходил в негодование, хотя и решительно отказывался понимать, как все это может быть, и иногда даже подозревал, не хватил ли автор статьи через край, приписывая такие намерения.

– Теперь я получаю восемьсот пятьдесят рублей пенсии! – говаривал старик, пытаясь на конкретном примере уяснить себе вопрос. – Получаю я за какую ни на есть, а все за службу. Хорошо. И что же? Так вот придут ко мне они и скажут: «Шабаш твоей пенсии, а тебе, адмиралу, капут!» Разве это справедливо? Уж если отнимать по совести, – фантазировал, бывало, старик, – то отними ты у тех, кто там разными хапанцами да арендами, да землями, да мало ли чем несправедливо набил себе мошну, но за что же у меня?.. За то, что я по чести прожил свой век!? Шалишь, братцы!

Но так как никто к старику за пенсией не приходил, то он, помечтавши после прочтения передовой статьи на эту щекотливую тему, скоро успокаивался насчет всеобщего разрушения. Тем не менее нельзя сказать, чтобы он оставался совершенно равнодушным, когда от таких статей переходил к вопросам, имеющим отношение к более близким интересам. Старик нередко негодовал и возмущался, что много несправедливостей и несовершенств творится в божьем мире и что дела на свете идут не так, как бы им следовало идти.

– Но все это поправимо и без того, чтобы отнимать у него пенсию, – философствовал адмирал. – Ну, можно, пожалуй, сократить ее, что ли, – жертвовал он самоотверженно *pour le bien public* [5] частью пенсии, – если находят, что она велика; вероятно, и другие согласятся на это... Все поправимо, стоит только всем действовать по совести, по чести, не обижая никого. Тогда и разрушать ничего не придется...

– Каждый поступай по совести, а у кого совести нет, того на Сахалин! Не так ли, сестра?

Таким вопросом обыкновенно заканчивались политические соображения старика, на склоне жизни получившего вкус к политике. Прежде он о ней и не думал.

И теперь адмирал, несмотря на нетерпение сестры, не охотницы до рассуждений о предметах, не имеющих непосредственного интереса, – заставил сперва сестру выслушать себя, прежде чем задать ей вышеприведенный вопрос.

Она, конечно, не задумалась бы в эту минуту не только сослать на Сахалин, но даже и куда-нибудь подальше директора правления, выгнавшего со службы ее сына, – о том мерзавце и говорить нечего, – но, как практическая женщина, очень хорошо понимала, что это невозможно. И потому на «философию» брата ответила без всякого философского спокойствия:

– Когда еще это все будет, а пока Митю-то выгнали!.. Но я этого дела так не оставлю.

– Что ж ты думаешь делать? – спросил адмирал, взглядывая с некоторым беспокойством на сестру.

Она рассказала о своем плане идти в правление и спрашивала совета.

– О, когда нужно, я сумею, братец, говорить самым дипломатическим языком! – прибавила она в успокоение брата Андрея и при этом взглянула на него с такой самоуверенностью, что после этого, казалось, усомниться в ее дипломатических способностях было преступлением.

Однако брат отрицательно и энергично покачал головой. Она только напрасно пойдет туда. Уж если директор уволил, не разобравши даже дела, то нечего с таким человеком и разговаривать.

– Но, быть может, ему наплели на Митю.

– Тем хуже. Зачем слушает!

– Так неужели так и оставить эту подлость? Нет, братец, я не согласна. Если директор оказался мерзавцем, я ему выскажу это, – она уж забыла в эту минуту о дипломатии, – а потом пойду к другому. Кто там выше?.. Вы знаете, братец? У них Совет еще есть... Так я найду и туда дорогу.

– Не ходи, сестра! Уж если ты так хочешь, я сам схожу к директору, хоть, признаюсь, и не надеюсь на успех, но попытаюсь. По крайней мере, я поговорю толком, объяснюсь.

– Отчего же мне не сходить? Точно я дура какая, толком не умею говорить. Слава богу, вы знаете, братец, детей определила я, из инвалидного капитала четыре года не хотели выдавать пенсии, все говорили: выйдут новые правила! – а я все-таки получила. Говорить-то я толком умею. Меня, слава богу, знают там. Спросите-ка у них, как я говорю!.. – отстаивала свои права полковница.

– То-то очень уж ты говоришь... Кипяток! Да ты там, пожалуй, директору такого напоешь, что потом к мировому. Ведь у тебя язык, когда ты вспыхнешь, известный!

– А у вас, братец, не язык, что ли?..

– Все-таки я хладнокровнее тебя, сестра Мария.

– Ну, братец Андрей, а вспомните-ка ваше хладнокровие, когда вы... Ну, да что вспоминать... У нас в крови это...

Дело, по обыкновению, чуть было не дошло до горячего спора между братом и сестрой. Адмирал стал горячиться, доказывая, что он владеет собой и что морская служба приучила его к этому; полковница тоже горячилась, ссылаясь на правительственные учреждения, которые хорошо знают: умеет ли она говорить. По счастью, лакей доложил, что подан самовар, и старик прекратил спор, заметив:

– Тебя не переспоришь. Пойдем-ка чай пить...

За чаем однако полковница согласилась, чтобы адмирал отправился к директору и поговорил с ним, так как «мужчина мужчину более слушает» – этот мотив старик придумал для успокоения сестры; если же будет неудача, тогда полковница пойдет к председателю Совета. Кроме того, брат обещал похлопотать за Митю у одного старого товарища, который имеет связи с разными банками. Завтра же он пойдет и попросит. Бог даст, что-нибудь и удастся.

– Спасибо вам, брат Андрей! – с чувством проговорила Марья Ивановна, останавливая нежный взгляд на брате, всегда принимавшем горячее участие в ее судьбе, – вы...

– А Митя как... философом? – перебил старик, торопясь замять изливания сестры.

– Именно философ... Пожалуй, если он и недоволен, что остался без места, так больше из-за меня. Вы знаете, какой Митя деликатный; скорей все мне отдаст, чем от меня возьмет. Недавно завелись у него какие-то десять рублей, он принес: «нате, говорит, маменька, Любе платье сделайте». Теперь вот, верно, об уроках хлопочет... Всем хорош, только одно: совсем он тюлень какой-то, и нет у него никакой амбиции, как у других. Точно ничего он и не хочет!.. Я иной раз дивлюсь даже...

– Да, мальчик он добрый! – согласился старик. – Не эгоист, как бывают другие дети.

Кто эти «другие», старик не прибавил, а полковница благоразумно сделала вид, что не слыхала последних слов.

Разговор перешел на другие предметы, и адмирал, между прочим, поднял вопрос о даче.

– Какая дача! – воскликнула Марья Ивановна.

– Разве Федя не догадался об этом? Он, слава богу, получает – шутка сказать – три тысячи жалованья, один, и его не разорило бы прислать каких-нибудь сто рублей, чтобы мать и маленькая сестра отдохнули летом.

– Он предлагал, братец, он предлагал! – с внезапной быстротой возразила Марья Ивановна, – еще на днях писал об этом.

Несмотря на похвальбу полковницы своими дипломатическими способностями, только что сказанная в защиту сына ложь была заметна. И торопливость, с которой она тотчас же отвела взгляд с брата на самовар, и какая-то неестественная быстрота ее возражения выдавали ее совсем. Однако адмирал, в свою очередь, сделал вид, что не заметил смущения сестры, и, помолчав, проговорил:

– Нынешним летом и я собираюсь, сестра, на дачу!

– Вы? – изумилась Марья Ивановна, хорошо знавшая, что старик терпеть не мог дач и всегда летом оставался в своей квартирке во дворе, в четырнадцатой линии.

– Чему ты удивляешься? Ну да, я! Не все же киснуть в городе. Давеча и доктор советовал; вам, говорит, морской воздух нужен. Вот собираюсь на неделе съездить в Мартышкино посмотреть дачу. Там и воздух, и дачи, говорят, дешевые... Ты ведь жила там?

– Да, там можно дешево найти дачку.

– Но только одному жить скучно. Если бы ты согласилась вместе с Любочкой и Митей, а? Я бы очень был рад.

У полковницы навернулась на глаза жгучая слеза. Но старик опять-таки ничего не заметил и, вставая из-за стола, проговорил:

– Смотри же, сестра, это дело решенное. Переезжайте ко мне на дачу; так и крестнице моей, Любочке, скажи... Надо и мне подышать свежим воздухом. И то по временам так ломит поясницу, так ломит... Эй, Понт, едем на дачу! Слышишь? – весело крикнул старик.

VI

Дня через два, в самый разгар домашних хлопот полковницы, когда она, возвратившись с рынка, стояла посреди гостиной, с засученными рукавами, в переднике, со щеткой в одной руке и тряпкой в другой, только что окончив перемывку цветов, – вслед за звонком, в гостиную вошла элегантно и со вкусом одетая, красивая и изящная молодая женщина, высокая, стройная, резкая брюнетка с матовым цветом нежной кожи, правильными чертами прекрасного, но несколько холодного и безвыразительного лица. Сходство с полковницей невольно бросалось при взгляде на эту даму, но какая разница между матерью и дочерью! Она резко сказывалась в сдержанности и мягкости манер, спокойном, строгом даже, взгляде блестящих черных глаз, в этой выхоленности, свидетельствующей, что мелкие и тяжкие заботы недостаточной жизни незнакомы молодой женщине. Улыбка, появившаяся на ее лице при виде полковницы в таком наряде и вооружении, не скрыла озабоченного выражения ее лица.

– Наденька, это ты! А я думала, кто бы это? – воскликнула полковница, обнимая дочь.

– Вы, маменька, по обыкновению, вечно чиститесь.

– Нельзя же... У меня прислуг нет. Ну, садись, снимай шляпку да рассказывай, что у вас... Все здоровы? Кофе будешь пить?

– Я, маменька, ненадолго. У меня тоже дом на руках! – проговорила она с важностью молодой хозяйки. – Я приехала к вам на минуточку – поговорить о Мите.

– Разве место какое есть? Муж нашел?

– Какое место! Коле, маменька, не до того. Он так занят, так занят!.. Ему теперь дали новое поручение... Его, маменька, выбрали, как лучшего товарища прокурора, и, быть может, даже наверное, карьера его будет блестящая, если только...

Она остановилась на минуту и прибавила с ядовитостью:

– Если только братцу не угодно будет помешать нам!

Братцу! Какому братцу? Полковница ровно ничего не понимала. Она широко раскрыла глаза и даже выпустила незаметно из рук тряпку, которую захватила с собой, присев на стул возле дочери.

– Да говори ты, Наденька, толком. Что это у тебя за манера прежде напугать, а потом сказать, в чем дело? Прежде у тебя этого не было. Верно, от благоверного научилась.

– Я, кажется, маменька, говорю понятно! – усмехнулась чуть-чуть Наденька. – Я говорю о Мите. Точно вы не знаете, за какие хорошие дела он потерял место?

– Что ты врешь, Наденька. За какие дела!.. С ним подлость сделали, он и потерял!

Наденька, не спеша, вынула из кармана своего пальто номер газеты и проговорила:

– Не хотите ли прочесть, маменька, что пишут в московской газете, – серьезной, маменька, газете. Или, позвольте, я сама вам прочту.

Совсем ошалевшая при виде газеты, в которой почему-то пишут о Мите, полковница ничего не сказала, и Наденька твердо и не без чувства прочитала следующий параграф:

«Нам сообщают из верного источника, что на днях, в правлении такой-то дороги, служащие, возмущенные безнравственными мнениями одного из своих сослуживцев, не окончившего нигде курса молодого человека К., тотчас же решили исключить его из своей среды и подали заявление начальству, что они не желают служить вместе с таким господином. Молодого человека немедленно уволили, но почему-то дело это не получило дальнейшего хода. Во всяком случае, честь и слава товарищам, не остановившимся перед честным исполнением своей патриотической обязанности из страха перед петербургским либерализмом, мишура которого, к несчастью, ослепляет наши глаза. Если б все поступали по примеру служащих *** правления, давно бы зло было сметено с лица русской земли».

Полковница выслушала и остолбенела от изумления.

– Когда я прочла это, маменька, мне чуть не сделалось дурно... Вы тогда иначе рассказывали...

– И ты веришь газете, а не веришь брату!? – воскликнула мать. – Все, что здесь написано, все это вот что... тьфу, тьфу и тьфу!

С этими словами полковница даже забыла, что пол уже вычищен, вырвала из рук дочери газету и, бросая ее на пол, плюнула три раза.

– Ах, маменька, какая вы, право... Ведь нет дыма без огня! Даже и то, что Митя высказывал, очень не рекомендует его... Не перебивайте меня: дайте мне досказать, маменька, пожалуйста. Я приехала к вам не для ссоры, а чтоб поговорить с вами, как дочь, как друг... Мне, конечно, жаль Митю, как брата, но, с другой стороны, за что его жалеть, если он всех нас не жалеет? Вообще Митя странно себя ведет: не окончил курса, был в деревне учителем, менял места, преднамеренно избегает положения, которое необходимо иметь каждому честному и порядочному человеку... одним словом...

У полковницы давно kloкотало в груди, но она сдерживала себя, желая выслушать до конца. Наденька продолжала:

– И вы, маменька, уж извините, слишком доверчивы. Станет вам Митя открываться, как же! Он, быть может, мало ли с кем видится, мало ли что замышляет!.. Ему терять нечего, а нам с мужем... И теперь! Могут узнать, что брат жены товарища прокурора исключен за предосудительные взгляды. Очень приятно!.. Вы хорошо бы сделали, маменька, если б поговорили с Митей, чтоб он, знаете ли, лучше куда-нибудь уехал отсюда... мы бываем у

вас... вы понимаете, маменька, наше положение?... И, наконец, мало ли что может случиться! Ни за кого нельзя ручаться... Для таких людей нет ничего святого, маменька... К сожалению, и за брата нельзя ручаться... Он всегда...

– Это ты что? Мужнины слова повторяешь! – не могла уже более слушать полковница. – Такой подлости сама ты не выдумала бы... И ты смела приехать ко мне предлагать выгнать Митю?.. – проговорила, задыхаясь, полковница.

– Я, маменька, не маленькая, понимаю вещи... Я ничего не предлагаю, но только приехала сказать, что из-за какого-нибудь безумного дурака мы не желаем рисковать своим положением, будущностью детей... Как вам угодно, но только не сердитесь, маменька, мы должны отказаться от удовольствия посещать вас, если брат будет жить с вами. Я сама мать...

– Вон, сию же минуту вон!.. – разразилась наконец полковница, не помня себя от бешенства. – Ишь, с чем пожаловала!.. Прогони сына... Ах, ты... Да если бы он в самом деле был преступник, так я не отреклась бы от него, а то для вас... Вы с муженьком уже давно от меня глаза воротите... Вон... вон, подлая тварь!

И полковница заметалась, как бешеная, по комнате.

– Что за выражения! Вы, кажется, по-прежнему заимствуете их на Сенной! [6] – презрительно сказала Наденька, с достоинством выходя из гостиной.

– Вон, подлая!.. Ирина! – гремела полковница, – эту даму никогда не принимать... Слышишь!

– Очень нужно приезжать!

Долго еще не могла придти в себя полковница. Долго еще она ходила по комнате... «Родная дочь... Хороша! Такая подлость... Недаром брат Андрей всегда ее не любил...» В голове у бедной полковницы был какой-то хаос. Родная дочь, газета, Митя, «дальнейший ход», все эти слова пронеслись бестолково в ее голове, раздражали и хватили ее за сердце. Поступок дочери поразил ее своей неожиданностью. Этого она не ожидала. Даже и такая крепкая старуха, как полковница, не выдержала и, после сильного припадка гнева, пришла в свою комнату, бросилась в постель и зарыдала, как беспомощный ребенок.

VII

Но мысль о «подлой» газете, которая лежала там, в гостиной, скоро подняла на ноги полковницу и возвратила к ней обычную энергию. Она еще раз перечла ненавистный параграф и сожалела, что не она, а адмирал будет объясняться с директором правления. Вот какую гадость напечатали!.. Решить самой написать опровержение, чтобы послать в газету, было делом недолгого раздумья... Однако и беседа дочери и эта газета несколько смутили ее. «А что, если в самом деле, Митя?..» – подумала она с ужасом.

Когда Митя вернулся домой, она пошла к нему в комнату и сделала ему следующий краткий допрос:

– Послушай, Митя, ты правду мне сказал: ничего такого не говорил там?

– Я вам объяснил. Сами видите, что ничего такого.

– Хорошо. А с какими-нибудь подозрительными лицами ты не знаком?

– Что вы, маменька! У меня и вообще-то мало знакомых, вы знаете их. Что в них подозрительного?

– А каких-нибудь там запрещенных книг не держишь?

– Да что вы!

– Читаешь, может быть? Ты от матери, Митя, не скрывай.

– Ей-богу, ни разу не читал. Где их достать!

– Ну, ладно, Митя. Так посмотри-ка, какую пасквиль про тебя напечатали. Сегодня твоя сестрица привезла. Ты к ним не ходи, Митя, слышишь... Она боится... карьеру, видишь ли, ты им испортишь.

Молодой человек улыбнулся, пожав плечами, взял газету и стал читать.

– Все вздор. Никакие товарищи не возмущались, напротив все, большинство меня же поддерживало в споре... Вся статья – вранье, – проговорил он. – Теперь много, маменька, пакостей печатают! И из-за чего только историю раздули!.. – прибавил Дмитрий Алексеевич, на которого однако слова статьи «дальнейший ход» произвели не особенно приятное впечатление. – Еще слава богу, что всю фамилию не напечатали.

– А вот я сама их пропечатаю!.. – вдруг заявила полковница.

– Что вы, маменька? – испугался Дмитрий Алексеевич.

– Я покажу – какая я маменька, если ты такой рохля! – проговорила мать, выходя из комнаты сына.

Целый вечер она сидела взаперти у себя в комнате, сочиняя ответ. Много листов она перепортила и наконец остановилась на следующем литературном произведении, которое перечла не без некоторого авторского удовольствия:

«Господин редактор!

Я удивляюсь, как в такой серьезной газете, как Ваша, Вы решились поместить подлую и нелепую ложь, касающуюся моего сына, выдуманную каким-нибудь негодяем, благоразумно скрывшим свою фамилию. Тень, кидаемая на моего сына, ложится и на меня, а потому, милостивый государь, как мать и вдова подполковника, кровью доказавшего преданность престолу и отечеству, я уведомляю Вас, что все Вами лживо напечатанное есть гнусная и презренная выдумка. Никаких возмутительных разговоров сын мой, обозначенный в статье буквою К., не вел и вести не станет, и никогда товарищи его не просили сына оставлять службу. Уволил его, без всякой причины, директор правления, получивший презренные сведения по доносу наушника. Предоставляю судить о благородстве такого поступка Вам, г. редактор, а я с своей стороны могу присовокупить, что вышеизложенное могут подтвердить все служащие в правлении, конечно, кроме наушника, лишившего неповинного сына места. Прошу письмо мое напечатать, дабы исправить вред незапятнанной репутации как моего невинного сына, так и моей, а равно успокоить прах моего мужа, прослужившего тридцать пять лет беспорочно и умершего от ран на поле чести. Печатать такие пасквили довольно подло, многоуважаемый редактор. Остаюсь вдова-подполковница, Мария Кропотова».

– Что ты скажешь, Митя, насчет этого письма, а? – спрашивала полковница сына, прочитав ему свое произведение.

Сын испугался.

– Вы хотите его послать?

– А ты думал как? Не для себя же я его писала.

– Что вы, маменька... Бросьте лучше его в печку.

– Это почему? Разве худо написано?

– Право, бросьте... Написано оно недурно, но не поднимайте вы этой глупой истории.

– Ах, ты, трус, трус!.. Какая тут история? Разве можно так оставить это дело... Или, может быть, ты в самом деле говорил возмутительные речи?

– Ничего я не говорил, уверяю вас, а все-таки прошу вас, не посылайте письма. И наконец я сам могу написать... я не малолетний, чтоб за меня вы писали.

Больших трудов стоило сыну уговорить полковницу хоть посоветоваться с дядей Андреем.

– На это я согласна. Но, во всяком случае, так оставить нельзя... Эх, ты... тюлень, тюлень... Даже на пасквиль не умеешь ответить, а тоже фанаберия!..

«История» с Дмитрием Алексеевичем стала известна среди родных и знакомых. Они приходили, под видом участия, узнать, в чем дело, и Марья Ивановна несколько раз повторяла, какую подлость сделали с Митей. Однако многие родственники были убеждены, что Дмитрий Алексеевич, в самом деле, подозрительный человек, и Дмитрий Алексеевич очутился в глазах некоторых в положении зачумленного. Полковница негодовала, узнав как-то стороной о таких сплетнях. К довершению всего, через неделю после происшествия, полковница получила от старшего сына, Феди, письмо, начало которого было следующее:

«Дорогая маменька!

С прискорбием узнал я из вашего письма, что брат Дмитрий опять лишился места, и хоть вы пишете, что по проискам других, но стороной я узнал, что тут не одни происки, а также и вина брата. Как мне ни жаль его, маменька, я принужден откровенно сказать, что с его стороны наконец просто недобросовестно до сих пор вести неопределенное существование и, таким образом, быть вам в тягость. Нельзя же в самом деле оставаться век свой младенцем! Хоть брата бог не наградил большим умом, но не настолько обидел его, чтобы он не мог сообразить нелепости всех своих поступков. Я слышал, что он лишился места, позволив себе высказывать мнения, едва ли уместные и своевременные. Это похоже на него, и я, как любящий брат, решаюсь просить вас, маменька, внушить брату, – он вас слушает и уважает, – что его поведение компрометирует всех его близких и может окончиться печально для него самого. Все мы понимаем, не хуже, если не лучше его, что жизнь представляет многие несовершенства; но несовершенства эти, во-первых, условны, а во-вторых, вовсе и не таковы, какими их желают представить люди, знакомые с жизнью по книгам и пустым односторонним статьям или вовсе ни с чем не знакомые, а воображающие себя умнее других. Едва ли глупый идеализм брата, его неумение обойти подводные камни практической жизни и примириться с необходимым злом жизненной карьеры, не способен увлечь его на путь очень опасный. К прискорбию, мы видим, к чему он приводит. Да сохранит нас всех господь бог от этого несчастья, но я боюсь, что бедный брат уже стоит на этом пути. Если мои предположения справедливы, то пусть он не считает меня братом, как ни больно мне лишиться брата.

Еще другая нерадостная весть, маменька: бедная сестра Наденька очень огорчена вашим к ней отношением...»

Дальше полковница уже не читала... С нее было вполне довольно прочитанного, чтобы из

груди ее вырвался отчаянный крик: «Подлец!»

Она с этих пор еще более привязалась к Мите, словно в отместку, что ее хотят непременно отдалить от него. Митя сделался ее кумиром. Она перессорилась со всеми родными, которые только осмеливались отзывать о нем двусмысленно. Своей двоюродной сестре она даже так энергично показала дверь, что в Коломне долго еще ходил рассказ об этом происшествии.

Но замечательнее всего в этой трагикомической истории было то, что виновник этой бури, о котором, благодаря сплетням, в Коломне слагались целые легенды, ни малейшим образом не был причастен ко всем этим обвинениям и предостережениям родных и знакомых. Это был самый скромный и непритязательный господин, меланхолик по натуре, скорее робкий, чем смелый, не предъявлявший к жизни никаких особенных претензий. Никогда и ни в каких «предосудительных» поступках он не был замешан, с «подозрительными» людьми знакомств не водил, в своих мечтах летал невысоко, словом – этот Дмитрий Алексеевич Кропотков, выброшенный в один день на улицу, был один из тех многих, самых обыкновенных смертных, простых, слабых, ничем особенно не выдающихся, у которых только еще не заглохли инстинкты правды, совесть не подвела итогов, и сердце не потеряло способности биться и трепетать при виде бесчеловечия и несправедливости и наконец, переполненное, порой давало о себе знать робким словом негодования, участия, сожаления...

Вот вся вина этих людей.

VIII

Андрей Иванович не ошибся в своем предположении. Он потерпел полную неудачу в своей миссии, несмотря на мундир и ордена, надетые им для свидания с г. директором правления. Не старый еще, пухлый, подслеповатый директор объяснился с ним весьма любезно, но вежливо дал понять, что решение, принятое относительно Кропоткова, бесповоротно. Он дипломатически отвергал какую бы то ни было «политическую причину» увольнения, но зато и уклонился от объяснения других причин. Адмиралу, как он потом рассказывал, «очень хотелось плюнуть этой каналье в морду», но он благоразумно от этого воздержался, к искренней горести полковницы. Она однако вовсе не намерена была оставить дело так. «Я доберусь до него!» – объявила она и решительно потребовала адрес председателя совета, чтоб изложить ему обстоятельства дела. – «Пусть он узнает!» Напрасно брат отсоветовал ей даром «портить кровь». Она была непреклонна, и адрес ей дан.

Вместе с известием о неудаче своей миссии адмирал принес и более приятное известие: в одном частном обществе открывается вакансия, и старый товарищ его дал рекомендательное письмо Дмитрию Алексеевичу, которое тут же и было вручено Мите. Полковница, конечно, обрадовалась и благодарила брата, а сыну она по этому поводу сказала:

– Смотри, Митя, если поступишь на место – молчи, так-таки и молчи... Никаких разговоров. Оно лучше!

– Д-да... Помалчивай, брат, помалчивай, Митя! – подтвердил и адмирал, прощаясь и обещая завтра придти узнать о результатах.

На следующий день полковница облеклась в шелковое платье, которому было, кажется, лет двадцать, надела новые перчатки, праздничную шляпку и вышла вместе с сыном из дому. Сын на дороге пробовал было ее остановить от визита к председателю совета, но она была

неумолима. Она так дело оставить не может.

– Ты иди себе, Митя, в Общество, а меня оставь... Я еще зайду в церковь! – прибавила она, перекрестив незаметно сына. – Пошли тебе господь удачу!

Во втором часу полковница вернулась домой. Адмирал, дожидавшийся ее, сразу догадался по взволнованному, возбужденному лицу сестры, что поход ее не был удачен. Она сбросила с себя тальму, швырнула на стол шляпку и крикнула:

– Ну ж и люди, братец!..

– Неудача?

– Я сперва рассказала ему, – продолжала она прерывающимся голосом, – все как следует, самым деликатным тоном; он внимательно слушал, а потом, когда я кончила: «Не мое, говорит, дело»...

– Что же дальше? – с беспокойством спросил брат.

– Дальше? Что дальше?.. Дальше я начала говорить. Ну уж, признаться, не выдержала, братец, и наговорила ему... Он будет помнить. Пусть хоть раз выслушает правду от матери-старухи!

Адмирал хорошо знал, что могла «наговорить» полковница, но не смел спросить о последствиях, тем более, что полковница о них умолчала и, передавая все подробности, не сочла нужным рассказать, как от генерала ее вывели торжественно два курьера под руки до самого подъезда.

Скоро вернулся и Дмитрий Алексеевич.

– Ну, что?

– Место уже занято, – проговорил он, – опоздал.

Он тоже скрыл истину, не желая огорчать мать и дядю. Его сперва хотели принять, но когда узнали, что он тот самый Кропотков, о котором было напечатано в газетах, довольно неловко извинились и объявили, что место уже занято.

– Ну что ж, занято так занято! – проговорила неожиданно спокойно полковница. – Еще найдем место!.. А я, братец, так это дело не оставлю, нет! – снова загорелась она, вспоминая свою неудачу. – Неужели же, в самом деле, так из-за людской подлости пропадать человеку?..

– Нет, уж вы лучше, маменька, оставьте...

– Как бы хуже не вышло, сестра!.. – задумчиво промолвил старик.

– Хуже?! Да чего может быть хуже того, что с сыном сделали?.. Безвинно... выгнали... Лишили куска хлеба... Нет!.. Я пойду к самому министру!..

1881

1

Аркольская битва. – Арколе – селение в Северной Италии на левом берегу реки Альпоне, где во время Итальянского похода Бонапарта в 1796–1797 гг. произошли бои между французской и австрийской армиями.

2

Кульмский крест – прусский орден, учрежденный в память победоносного сражения союзных армий, куда входили и русские войска, с Наполеоном при Кульме в августе 1813 года.

3

Мария Стюарт (1542–1587) – шотландская королева, казненная по обвинению в заговоре против английской королевы Елизаветы.

4

...графу Толстому – Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889), в 1866–1880 гг. – министр народного просвещения. В 1871 году провел реорганизацию среднего образования, заключающуюся в значительном усилении преподавания латинского и греческого языков в гимназиях, причем только воспитанникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет. Реальные гимназии были преобразованы в реальные училища.

5

для общественного блага

(франц.)

6

...заимствуете их на Сенной... – т.е. на рынке, который располагался на Сенной площади.